

Алексей РЕМИЗОВ

ИВЕРЕНЬ

Загогулины моей памяти



Главы из книги

В 1980 году в журнале «Север» я опубликовал статью «России я должен почти все» о жизни и творчестве датско-русского писателя Оге Маделунга. Писателем его, преуспевающего датского торговца маслом, сделала вологодская литературная стихия начала XX века. Эта же стихия увлекла Алексея Ремизова, Николая Бердяева, Анатолия Луначарского, Бориса Савинкова и многих других политических ссыльных 1902—1905 гг.

Стал собирать материалы, помогли зарубежные слависты, прежде всего профессор Копенгагенского университета Петер Меллер. Я предполагал опубликовать статьи о вологодском периоде в жизни и творчестве Анатолия Луначарского, Николая Бердяева, Бориса Савинкова, Алексея Ремизова, Александра Богданова, Петра Щеголева и других, позднее приобретших мировую известность ученых, писателей, политических деятелей. Естественно, задумывалась и публикация произведений вологодского периода этой «могучей кучки». Тем более, почти каждый из них оставил воспоминания о пребывании в Вологде.

Упомянем, кроме названных, известного фельетониста А. В. Амфитеатрова, высланного в Вологду за сатирический фельетон «Господа Обмановы», А. В. Тыркову-Вильямс, П. Л. Тучапского, будущего профессора Токийского университета А. А. Ванновского, автора популярной на Западе книги «Третий завет и апокалипсис».

В 1982 году все в том же «Севере» вышла моя статья «Сокровенное слово Севера», где я писал о «целой литературно-философской колонии в Вологде начала века: А. Ремизов, Б. Савинков, Н. Бердяев, А. Луначарский, О. Маделунг, П. Щеголев, С. Струмилин...» За статью эту, по сегодняшним меркам самую безобидную, досталось и редакции журнала «Север», и автору. Даже высший партийный орган — газета «Правда» указала на «проявления внесоциального, игнорирующего ленинскую идею «двух культур» подхода... в статье В. Бондаренко «Сокровенное слово Севера»...

После «Правды» статью осудили партийные власти Карелии, секретариат правления Союза писателей СССР, Главлит разослал письмо-циркуляр по всей стране, как по команде набросились преуспевавшие литераторы, ныне ставшие «перестройщиками», В. Оскоцкий, Ю. Суровцев, И. Дедков, в Карелии — Л. Резников...

После подобных выступлений публикацию о вологодских ссыльных журналу пришлось прекратить...

Прошло десять лет, и мы возвращаемся к началу. В 1991—1992 годах на страницах журнала увидят свет наиболее интересные воспоминания о Вологде и вологодской политической ссылке начала XX века, среди них — воспоминания Николая Бердяева, Бориса Савинкова, Александра Богданова, Ариадны Тырковой-Вильямс и других, ни разу не публиковавшихся у нас в стране.

В этом номере мы начинаем публикацию северных глав книги «Иверень» прекрасного русского писателя Алексея Ремизова.

Самая первая публикация писателя, его дебют, относится к вологодской ссылке, когда он напечатал в ярославской газете «Плач девушки перед замужеством». В книге воспоминаний «Иверень» (рукопись которой хранилась в Пушкинском доме в Ленинграде, но, как часто, увы, бывает, впервые опубликована в Америке, в Беркли, в 1986 году, благодаря усилиям исследователя его творчества О. Раевской-Хьюз) Ремизов наиболее подробно из всех своих друзей описывает жизнь в Усть-Сысольске и Вологде. А с каким восторгом пишет он природу Русского Севера!

Любовь к Северу осталась у Алексея Ремизова на всю жизнь, он возвращался к образам Севера, вспоминал «Северные Афины» в своем эмигрантском парижском бытии. И как бы ни складывалась его жизнь, встречи с бывшими вологодскими приятелями всегда вызывали радость, от Вологды в жизнь Алексея Ремизова шло одно добро. В книге о революции «Взвихренная Русь» встречаем: «А с Савинковым мне легче говорить — или потому, что много переговорено за вологодскую жизнь? А еще легче — вспоминаю теперь — с Каляевым. Помню навсегда, как Каляев цветет мне принес». (И. Каляев — революционер-террорист, был в Вологде вместе с Ремизовым). В книге «Кукха» (Берлин, 1923) уже о Бердяеве: «И до чего он жизнерадостный. И в Вологде с ним было весело... Хорошая память: благородный человек».

Может, и стиль свой, поначалу поразивший многих, а затем и покоривший — М. Булгакова, Б. Пильняка, Вс. Иванова и других, — он обрел в Вологде? Среди сказителей и певцов народных. Может, и слово русское он так тонко почувствовал впервые на Русском Севере? Не в больших же городах?! И отрицание «немчурь» всяческой, убивающей, по мнению Ремизова, красоту русского языка — тоже из северных скитаний?

Писал Алексей Михайлович Ремизов всегда много, щедро. Жил в эмиграции тяжело, неустроенно. В России издал 37 книг, за границей — 45. Родился 24 июня 1877 года в Москве, умер восьмидесяти лет от роду в 1957 году в Париже... Рос в семье московских купцов. С юности, как и многие его сверстники, увлеклся литературой и... революцией. Даже перевозил марксистскую литературу из Цюриха. Не попался по чистой случайности, даже в полиции потом удивлялись, приняв Ремизова за крупного нелегала. «Вылетел» из Московского университета сначала под гласный надзор полиции в Пензенскую губернию, а затем за организацию стачки рабочих — в Усть-Сысольск. Читатель сам узнает из воспоминаний, как перебрался Алексей Ремизов из северного захолустья в губернский город, как встретил в Вологде свою будущую жену, с которой прожил всю жизнь, до смерти Серафимы Павловны в 1943 году.

Как выразительны портреты политических ссыльных, а ведь они писались Ремизовым уже в эмиграции, десятилетия спустя. Разные судьбы ждут его героев. Одни окажутся комиссарами, будут наводить ужас на целые губернии, как, например, М. Кедров или И. Саммер, о котором упоминает в своих вологодских заметках Н. Бердяев. Другие откажутся от своих революционных порывов, эмигрируют, станут последовательными противниками коммунизма, такие, как Б. Савинков, Н. Бердяев. Кто-то окажется профессором в Японии (А. Ванновский), а кто-то посвятит жизнь покорению Севера и погибнет (известный полярный исследователь В. Русанов). И. Каляева повесят за убийство великого князя. О. Маделунг станет известным датским писателем, с удовольствием будет переводить русских писателей, а среди них и своего друга Б. Савинкова.

Вологодская ссылка — удивительный феномен. Там готовился первый сборник «Проблемы идеализма», предтеча знаменитых «Вех». Там же марксисты во главе с А. Луначарским подготовили свои «Очерки реалистического мировоззрения». В Вологде писались первые художественные произведения А. Ремизова, стихи И. Каляева, начинал заниматься Пушкиным П. Щеголев, готовил план северной экспедиции В. Р. Русанов... И тут же пьесы А. Луначарского, рассказы О. Маделунга.

Может, затем и понадобилось все предыдущее Алексею Ремизову, чтобы выйти из своих северных странствий сложившимся писателем. Он сказочник и фантаст, повелитель Обезьяньей Великой и Вольной Палаты, куда принимал великодушно своих друзей. Чью традицию в русской литературе продолжил автор «Докуки», «Сказок обезьяньего царя Асыки», «Зги» — скорее всего Николая Гоголя. Можно вспомнить и немца Гофмана. Можно — сказки Афанасьева...

Но вот перед нами автор «Взвихренной Руси» — экспрессивных заметок о русской революции с точными житейскими наблюдениями, но и со сновидениями, фарсовыми сценками. Вспомнишь и «Окаянные дни» И. Бунина и «Дьяволиаду» М. Булгакова — сразу.

Он — писательский скоморох, сказовый карикатурист. Эта гротескность, эта трагичность, эта беспомощность писателя перед злом и защита добра — все заключено в одном, одиноком человеке, бесконечно любящим свою Русь, свои «Северные Афины», реки, леса и всех своих героев. Он — воистину увлеченный человек и в жизни, и в творчестве.

Знакомство читателей «Севера» с главами из «Ивереня», с «загогулинами ремизовской паяти» — это и художественное наслаждение, и познание своей Родины. «Северные Афины», Вологда начала века... Ныне это уже «Афины» Н. Рубцова и С. Орлова, А. Яшина и В. Белова. Прекрасная все же строка Ремизова: «Поддавшись вологодской литературной стихии...» Пусть она звучит и сегодня.

*Вступление и публикация
В. БОНДАРЕНКО*

В СЫРЫХ ТУМАНАХ

На заповедной земле

Перебрасывая из тюрьмы в тюрьму, судьба вела меня путем «несчастных» (говорю по-русски) от ковылевых степей сквозь вологодскую деберь на устье Сысолы и там покинула на своей воле жить среди югры — «языка нема». И только что ступил я на берег и очутился за алой изгородью частых кустов шиповника, сразу почувствовал — мое сердце поворотилось — и тоска обожгла мне душу. Этот воздух, эти краски, эти звуки — сырые туманы лукоморья.

Еще раз на путях жизни я встречаю — мне месяц будет колосить лиловую в вереске дорогу — и чувство то же, когда по «старым камням» Европы судьба приведет меня на крайний камень к Океану, и я очнусь на колдовском поле немых, взгроможденных не по нашей мере и человеку не под силу загадочных камней Бретонского Карнака.

Я был настороже, я следил — смотрел, по-лермонтовски скажу, я смотрел «с холодным вниманьем вокруг», но моя встрепетавшая душа во власти горьких чар томилась.

* * *

Дом пользовался худой славой. И уж как старалась хозяйка, а не могла сдать комнату: дом обходили. В чем дело, я не мог дознаться. Правда, и не добивался особенно, мне было все равно. Два месяца этапного пути с дневками и ночевками по губернским пересыльным тюрьмам — бывалому одно это «пересыльный» много скажет. Оттого-то медовый Спас (1-ое августа) в мой первый день в Усть-Сысольске я начинаю мою «поднадзорную» жизнь в этом обойденном доме.

Крайний, высоко на берегу, на круче, без соседей. Во дворе баня, три высокие ели и сколько-то мелких, и колючие кусты — дикий алый шиповник. Мне говорили, был кедр, а теперь вылощенная кость, пень, а

это значит, заповедное место — разоренное капище или кумирня с жертвенником солнцу-месяцу-звездам-радуге. И прямо под ветром: рви, гони напропалую, дуй в лицо, в бок, в загривок, бей в висок, под ложечку, по голове и в сердце. Крепкая стройка, а не то бы прощай, разнесет в щепы.

Лес под боком, конца не видать, дров не жалко, и хорошо натоплена печка, дважды топили, а в комнате все холодно-вато. Стены бревенчатые, не паклей, мохом конопачены — олений мох ягель, а и лунный ягель почернел, ежится.

Вечером заглянет хозяйка, помешает печку, станет, потрется о притолоку, и часами стоит, вздыхая. То ли у них еще холодно, то ли очень ей скучно.

Зырянка — Геллер. А как по первому мужу, не знаю: году не прошло со свадьбы, утонул в половодье — «Кутьявойса приревновала!» — так объясняли (объяснить все можно).

А в этой комнате поселился поляк из Познани, ссыльный, и они поженились, тоже давно это было, оттого и Геллер. Пять лет как уехал на родину — пять лет никаких вестей и ничего о нем, пропал.

Три дочери: Марианна, Аннушка и Оде, так кличут Дашу.

Марианна — учительница в Усть-Выми, на глаз немка, в бабушку Геллера, ничего от матери, зато Аннушка — она кончала прогимназию — куда мать! Теплое оленье, зверино-чистое без всякой лукавинки, даже чудно, все-таки человек; и младшая Оде, ей в мае исполнилось тринадцать, я как взглянул: «кикимора!» Оде ходила в школу и всякий день прямо из школы ко мне печку топить.

Комната три окна: одно во двор, а из других — река. Места довольно, только вся-то заставлена, не повернуться: я жил не один. Еще двое: пан Ян и пан Анжей, ссыльные из Вильны сапожники. Я занимал угол.

В дороге, как гнали этапом, только мешок — все мое добро. Книг не разрешается. А тут появились — спасибо, с воли

меня никогда не оставляли! В моем углу полка, а к Пасхе приполку поставлю — ведь что в тюрьме плохо, книг нет, а с книгами и в неволе волей дышишь. Перед окном во двор — стол, кроме чтения пишу, но еще ни разу не печатался. Между стеной и печкой кровать. Вот и вся моя камера — долго еще после тюрьмы говоришь вместо «комната».

По другой стене две кровати: к окну на волю — пан Ян; к двери — пан Анжей. Между ними наш общий стол.

На людях мне трудно: мысль рассеивается, слова захрясают и такое, будто не весь я, а половинки — одна говорит, другая перебивает, третья путает. По тюрьмам я сидел в одиночке — не жаловался. И теперь под четырьмя глазами, кажется, пропасть бы. К счастью, товарищи мои на первых порах оказались ладными, по душе тихие, не занозистые и голос без трывков и цапу, а в повадке без всякого «соплетения», чисто, ни ногами, ни руками не задевают.

Работы никакой — мастера башмачники, тонкую обувь на холеную ногу в Вильне выдывали.

Мне вспомнился сапожный случай, вычитал в *Записках* Никитенки: приезд персидского посольства в Петербург в 1816 году.

— Представьте себе Невский, и по Невскому шествие: впереди гундустанцы в красных штанах, кривыми саблями помахивают, а за ними слоны и на слоне сам посол и вся его свита: слоны в сапогах.

— Персидским сапожникам работа везде найдется, — сказал пан Ян.

— А тут суй ногу в валенку и готово! — сказал пан Анжей.

Два мешка с инструментами в сенях на гвозде, как повесили, так и висят на ржу. И кожа скорбила, не отличить что сафьян, что явлоок.

А как завернули холода, да повалила валом пурга, пристрастились мои сапожники спать: и ночью спят, как полагается, и днем спят, что здоровому совсем не к лицу, а вечерами я бужу чай пить.

Нет, мне помехи не было, не роптал: жил я, хоть и в углу, а как самостоятельно — полная воля и думай вслух, и читай на голос, прислушиваясь к словам.

* * *

По вечерам за самоваром я читаю вслух. И то, что меня занимает, и для «науки». Пробовал Маркса, да оказалось мудрено: в таких вещах надо самому потрудиться, чужого голоса мало. Отложили до весны — придет весна, ночей не будет, один круглый день и никаких медвежьих сонных со-

блазнов, ни ветровых баюкающих зовов.

Ишь, какой гудивый, дүлый. И в трубе, и в щелях, и под крышей, и за окном на воле — в волю рывь и вой. Что ты просишь, о чем тоскуешь? Или унывный лад — твой сказ и твоя песня? — И почему, прислушиваясь, о чем-то вспоминаю, часами слушаю — ты не мне баюн! — и не наслушаюсь черных обаянных песен. Твое черное сердце — извечная горечь — пучина моего слова.

Оде прислушивалась, я заметил.

— Что ты бормочешь? — спросил я.

Но она, не слыша мой голос, свое шептала; я разобрал: «бабушка жива».

— Чья бабушка?

— Ветрова, — сказала Оде.

Я не знаю, как это... Оде мешала зырянское с русским, и о какой это Матери матерей?

На Океане в Бретани я вспомнил наши северные вьюги, крутящую метель вподхлест с поземелицей, и Оде я вспомнил, заклинение, припев о Матери матерей.

Бабушка Альфреда, она называла его Арманом, la sorcière divinerez — обаяница-ведьма, тоже что-то шептала, когда из ночи гудело море и ветер, чернее ночи, перепев все вои, вздернул на дьбу море и изывал, из горьких пропастных глубин истока, слова. И когда она кончила молитву, я спросил:

— Это ветру?

— Ему, — сказала она, — за ночь много небедит беды. Но зла в нем нет. Матерь матерей (Mam ar mamotu) уймет его.

* * *

По вечерам за самоваром я читал по истории: чего же занятнее и нечего голову ломать. Я читал, как строилось русское царство, с татарами, Сибирью — Москва. Я стараюсь быть марксистом, но «покровского» толку из меня никогда не выходит, особенно я прошибался, когда начинал повесть о русских святых-строителях русской земли и веры, с вербой, троицкими березками и красной Пасхой.

В праздники приезжала из Усть-Выми Марианна, всегда зайдет послушать; Аннушка и без Марианны всякий вечер и неизменно Оде.

И Аннушка, и Марианна оживлялись, когда я читал рассказы: я читал Толстого, Тургенева, Лескова и нашего Вальтер-Скотта, — Лажечникова. Но особенно оживляли сказки — «несбыточные происшествия», как говорил Марианна. Любимым, конечно, был Э. Т. А. Гофман. При трудном они слушали меня, как я сам слушал ветер: мой голос, все равно что, их чаровал.

Теперь — а прошло полвека — дышать уж не то и сам полуслепой, но еще совсем недавно я пользовался моим природным даром, как лекарством и, без китайского порошку, только моим чтением разгонял у человека бессонницу.

Оде усаживалась с ногами на мою кровать. Я чувствовал на себе ее упорный неотступный взгляд.

«Чудное дело,— думал я,— Оде ничего не понимает, а следит, переговаривая мой голос». И мне казалось, что я услышу знакомое, и мое чтение пронизует, странные для меня, слова о Матери матерей. Вдруг обернувшись, я встречал не по-детски печальные глаза,— я знаю эту напоенность неугасимой болью, когда судьба сломит душу и отойдет на время: выпрямитесь или согнетесь? И под моим глазом вся ее чудная мордочка вдруг озарялась. И сладко зевнув по-кошачьи, она тихо засыпала. А я продолжал читать.

Однажды, как расхотиться, я сложил книгу. Этот вечер с полянничным вареньем посвящен был Достоевскому: я начал читать *Униженные и оскорбленные*. Прибираем со стола: на ночь никогда не оставляй немытое. Ушла, повздыхав, хозяйка, а за ней Аннушка. А Оде спит себе.

Обыкновенно ее расталкивали, а тут я подошел к кровати и тихонечко, как детей гладят, провел рукой по лицу — «теплые-прегретые, говорил я, пялки, и курнофей живой, и оттопырки»... и, сделав по губам ей, как по струне, я коснулся шеи: «шейка», сказал я и, не договорив, невольно отстранил руки,— она, вся вздрогнув, широко раскрыла глаза и, не видя меня, я это чувствовал, напряженно уставилась, приподымаясь, и вдруг горько и покорно, как о потере безвозвратной, заплакала.

Я на другой день спросил мать, что такое, отчего это?

— Напугана,— сказала мать,— но она все забыла.

— Что все?

И я заметил, как Аннушка оленьими глазами строго, испытая, уставилась на мать. Я понял, она боялась, мать проговорится. И еще я понял: не во мне тут — мне можно все сказать — а в Оде: Оде что-то услышит и вспомнит все.

* * *

«Много прошло времени,— читаю Достоевского последние страницы,— до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор с какой тяжелой пронзительной тоской вспоминается мне это бледное худенькое личико, эти долгие взгляды, когда, бывало, мы остава-

лись вдвоем, и она смотрит на меня со своей постели, смотрит, долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у нее на уме, но видя, что я не угадываю...»

Вдруг Оде поднялась — но не шатаясь, не тыча пальцами себе в жмурящиеся от света глаза, и шла не к двери, а прямо к столу — это у всех на глазах,— и я остановился: глаза ее были открыты, из глубины глядела она перед собой через. И две вербовые хлесточки обвились вокруг моей шеи. И под тройными шкурками почувствовал я всю глущность ее слабых детских рук. Высвобождаясь, я невольно дотронулся до нее — и она тотчас проснулась. И заплакала.

Марианна увела ее.

— Оде заснула,— сказала Марианна, вернувшись, и, чего-то извиняясь, добавила: — напугана.

Я стал присматриваться и был очень осторожен.

Гоголь со всеми своими страхами никак, а Достоевский через голос действовал, пробуждая что-то невольно даже сквозь сон.

Но, вообще, ничего я не заметил и только эти печально всматривающиеся глаза. Пробовал расспрашивать и тоже ничего. Оде говорила мало, в говоре у нее было общее с Марианной. А Марианна говорила чудно.

* * *

Марианна любила рассказывать сказки — «несбыточные происшествия». Сказывала по-своему, и самое обыденное обращалось у нее в чудесное.

Долго я не мог понять, в чем тут зацепка, и только вслушавшись, сообразил: произношение — тайна первых измерений голоса.

Гете в «Вертере» дает совет и совершенно верный: сказку сказывать раздумчиво. Но одним раздумьем чудесное разве возьмешь? Нет, надо еще что-то, и это что-то, чему нельзя научиться, взблеск корней слова, что я называю первым измерением голоса, это дар Божий и в этом все.

Марианна любила сказки про оборотней: как наговором можно обратить человека в медведя, лягушку, зайца, лошадь, собаку — на срок и до отговора.

Через слова Марианны — в первозвуках ее слов — мне открылась тайна превращения. Оказывается, не всякого во все можно: превращение это только обнаружение скрытого. Нельзя, например, меня обратить во льва, а в вола или осла — особенно и мудрствовать не потребуется. И еще: когда чары перестают действовать,

и человеку-оборотню возвращается его человеческое лицо, человек сохраняет память, помнит свои звериные деяния. И еще: при каком-то высшем напряжении чувств или, если накалить душу добела, человек как бы выходит из себя, и в каком образе видит себя — что тут медведь, лягушка, заяц, лошадь, вол, осел — нет меры безобразия и зверства, каким может показаться человек самому себе и без всяких чар и наговоров.

И еще я понял и проверил на себе: да разве каким меня знают по встречам и фотографиям, да разве это тот я, каким я сам себя чувствую и представляю, живу среди людей, измышляя и действуя. Вот почему дети так не похожи на взрослых: у детей нет еще этого разлада: быть и казаться. С годами человек самой жизнью, этой чаровницей из чаровниц, обращается во что-то и без всяких умышленных чар и наговоров.

— А как эти? — спросил я.

Марианна поняла.

— Эти, — сказала она, — они вольны в кого хочешь, но никогда совсем, так и узнаешь их: что-нибудь да вылезет постороннее.

При этих словах мелькнула мысль — воспоминание: в *Киевском патерике* бесы приходят искушать затворника: они обернулись в ангелов — как настоящие ангелы и сияние, и умиление, и белая одежда — а между тем, ноги у них куриные. Восхищенный затворник не видит, а зоркий глаз художника, изобразившего это босовское явление, заметил.

— Леший, — продолжала Марианна, — обернется медведем, а глядишь, хвост торчит беличий, и наоборот, прыгает белка, а лапы медвежьи. Тоже и водяника, не отличишь от человека, а нагнулась камушек с песку поднять, смотришь, а у нее как вареная раковая шейка сзади. Тоже и кикимора.

— Кикимора в виде кошки? — перебил я, вспомнив, что читал про кикимор в *Живой Старине* и в *Этнографическом Обозрении*.

— Откуда вы знаете? — Марианна испуганно оглянулась.

Но кроме нас никого, а сапожники спят.

— Кикимора кошкой... — шепотом сказала Марианна. — Кикимора, она может... я вам когда-нибудь все расскажу.

Видно было, ей не терпелось сейчас же рассказать какую-то таинственную историю — «несбыточное происшествие», но она боится. И по тому, как она боялась, мне стало ясно, что тайна дома связана с кикиморой.

У меня с кикиморой давнее. В первый раз про кикимору я услышал в детстве. Шел я из гимназии, и был такой сырой день, мне всегда легко и трепетно в такие серые дни: сквозь туман моросил дождь. То ли это на лице у меня было написано, а навстречу шел какой-то, видно, без всякой тишины и, поравнявшись, ощерился: «курносая кикимора», — сказал он и сделал такое губами беззвучно, но очень чутко: «дрянь». Непонятное слово и как оно было сказано, щипком разбудило меня, и уж совсем не легко, прыжками, я дошел домой.

Вечером на кухне, я нарочно выждал час ужина, я спросил о кикиморе, и оказалось, нянька, кухарка, горничная и старуха-богоделка, забредшая к нам в эти дни, все очень хорошо были осведомлены о кикиморе. Откуда пошло это слово «кикимора», они ничего не могли сказать, а о житье-бытье кикиморы очень даже.

Нянька называла как-то бережно и уважительно «кикиморкой» — и что она чудная, проказа.

«На тебя похожа, — отозвалась старуха-богоделка, глядя на меня добрыми усталыми глазами, — вот как ты, — и она назвала меня ласкательно, — все-то озорничаешь!»

«На какую попадешь, — поправила кухарка, — шутки шутками, а бывает и больно, а уж какая она грёма — неупасимая: напустит по полу синие огоньки, завертит свое веретено и все тарелки перебьет и сковороды повывернет шалуя».

Маша горничная рассказала целую историю о проказах кикиморы у них в деревне: она давилась от смеха, помяная случаи, где было много изобретательности на трунь и безобразия.

Я представлял себе кикимору: озорная, насмешливая, проказливая и веселая, а значит, так рассуждал я, по-человеческому, и добрая — разве в веселости подымется рука смазать кого или сорвется жестокое слово?

А узнаю от Лядова — музыка Лядова на слова из *Сказаний русского народа* Сахарова, — что кикимора существо чудное, я бы сказал, сестра Калечины-Малечины, а о Калечине-Малечине я тоже много наслушался на кухне: обе лесные, тоненькая, как соломинка, курнопятая, ноздрегривая и бровоход — бровями, что лошадь ухом, но никак не добрая, «зло на уме держит на весь люд честной».

Откуда и почему у кикиморы зло на уме?

В *Сказаниях* у Сахарова ничего не говорится, и ни в каких этнографических материалах я не встречал объяснения, и в рассказе у Порфирия Байского (Орест Мих. Сомов), написано, конечно, по каким-то записям, нигде ни полслова. Одно известно, что родина кикиморы — Вологда.

Как-то Марианна спросила про «аспида». Василиска она немножко знает, «лупоглазый», а про аспида ничего, и то ли это вертунок, то ли трескуник — не представляет.

Вопрос не совсем обычный, теперь бы я дал ей самые точные подробности о василиске, далеко ходить не надо: наша консержка. А про аспида я только могу, что вычитал из наших старинных азбуковников.

— Аспид,— сказал я,— есть змея крылатая, и в которой земле вчинится, ту землю пугает, а живет в каменных горах. Ведь и кикимора с гор?

— Нет, кикимора лесная,— поправила Марианна.

— Нос имеет птичий,— продолжал я про аспида,— и два хобота; терпеть не может шуму и беспорядку и особенно противен ему трубный глас и самая нежная валторна его сшибает: хоботом уши заткнет и сидит на корточках, весь трясется от возмущения, тут его голыми руками и бери: не боднет и оклевать не удосужится.

Тогда еще не существовало медной противоаспидной музыки Вареза, и я сослался на околоточного Павлушкина — выступает на клубных вечерах соло на корнета-пистоне: какую силу Павлушкин в себе содержит и какими делами мог бы ворочать, живи он где-нибудь на Урале, где аспиду разлюбленное место разбойничать.

На Марианну это очень подействовало, и я воспользовался ее удивлением, спросил про свое:

— Скажите, правда это, что кикимора злая?

— Совсем наоборот! — сказала Марианна.— Полюбит кого, и мать родная такого не сделает.

И опять, как тот раз, чего-то испугалась.

— Не спрашивайте, я вам все расскажу.

— Да когда же?

Еще больше разожглось мое любопытство к этому таинственному, все объясняющему и судьбу Оде и всего их, обойденного людьми, дома. И мне пришла в голову мысль, я вспомнил о рассказе Сомова,— но где тут достать *Северные Цветы*?

...

Как только осмотрелся я в Усть-Сысольске, прежде всего вспомнил о Надежде.

Н. И. Надеждин (Надоумка), профессор эстетики и археологии в Московском университете, редактор *Телескопа*, осенью 1836 года за «Философическое письмо» Чаадаева, напечатанное в № 15 *Телескопа*, сослан был в Усть-Сысольск, а *Телескоп* запрещен. Два года провел Надеждин в Усть-Сысольске, а затем переехал в Вологду.

В Усть-Сысольск Надеждин привез много книг и едва ли все взял с собой в Вологду. Мне хотелось дознаться, сохранилась ли через шестьдесят пять лет память о нем и не попадают ли книги из его богатого собрания?

Среди книг, привезенных Надеждиным в Усть-Сысольск, был, конечно, *Телескоп*, *Вестник Европы*, возможно и *Северные Цветы* с рассказом Сомова.

Я спросил Марианну:

— Вы слышали что-нибудь про Надеждина?

— Надеркин,— поправила Марианна,— как же, в полиции служит, следит за вашими.

— Вам понадалась книжка *Северные Цветы*?

Марианна много читала сказок, но про «светы» не помнит.

— Если бы достать эту книжку,— сказал я,— я бы вам прочитал сказку, как одной девочке явилась кикимора в виде кошки...

— Нет, нет, не читайте,— перебила Марианна,— я вам сказала, я все расскажу,— и подумав: — когда придет весна.

...

Пришла весна — вечером я заглянул в окно — звенят ручьи — и узнал ее. — Пришла весна!

За мной потянулась к окну Оде и долго, уставясь, смотрела: черное небо низко спускалось над лесом и чернее черного неба лес копошился. И вдруг вздрогнув, Оде обернулась — и это было так, как будто через меня дошел до нее весенний оклик. В ее глазах было столько не по-детски осмысленного: она как будто что-то уже вспомнила, поняла и, глядя мне в глаза неотступно, просила — о чем она просила? Спасти ее? (Я ведь ничего не знал и только смутно бродила мысль о ее обреченности). Нет, не заплакала, а, как шалая, горя глазами, вышла из комнаты, шатаясь.

С этого дня Оде было не узнать. И с каждым днем она становилась спокойнее, а за моим вечерним чтением не спала уж, она подсаживалась ко мне и о чем-то своем глубоко думала, едва ли слушающая чтение. А днем я видел, как она бежит по двору и ли станет на кедровый пенек

и долго стоит, запрокинув голову, глазами в черное небо.

Весна все перевернула — поднялись из спячки и мои товарищи: себе на развлечение, а мне на доuku. Мешки с гвоздями сняты, инструменты вычищены, кожа вымочена, высушена и разглажена.

Лесничиха затеяла к Пасхе шить себе какие-то невообразимые туфли, чтобы неслышно ходить и каблукom притоптывать: «как у Марии-Антуанетты!» — объяснила она, лисой острый язычок крутя. Тоже и околоточный Павлушкин — откуда такое запало, но чтобы шить ему к Пасхе сапоги, как у виленского брандмейстера, и со скрипом в такт с корнет-а-пистоном.

Работа закипела. А кто ж молчком работает, да если еще вдвоем, да из подпорченного материала.

У пана Яна обнаружилась непомерная заносчивость, а голос — пила, а у пана Анжея — с вылетом или гавком. Если по-польски для русского уха и самое домашнее, при постукивающим цоканье, кажется всурьез, но когда дело доходит до ругани, тут только и ждешь: набросятся и — кусать.

Работа, да еще весенний шальной напор: с каждым талым днем оттаивало молодое сердце моих сожителей, и, как зимой к спанью, пристрастились они, выражаясь модным словом времен Новикова (ударение на окончательном «о» в отличие от прочих), «махаться» (ударять) за Аннушкой и, конечно, ссорятся друг с другом до грызни.

И все чаще стал я вспоминать то блаженное время, когда занимал на земле не «поднадзорный» угол, в обойденном людьми мирном доме, а одиночную камеру с привинченной к стене, на дневные часы, кроватью.

* * *

Вытолкнутый из строя зимнего затишья, сейчас, в весеннем несмеркающем свете, в непрерывных спорах и окриках над ухом, задумался я о себе, о своей случайности среди людей и как захотелось мне быть только не самим собой.

Все мне казались людьми, как человеку быть. Все что-то делали и рассуждали, а я и гвоздя вбить не сумею без того, чтобы не садануть себя по руке, а моя затея посмотреть лес, наперед скажу, — курам на смех: меня привезут на остров и там с первого шагу я завязну во мху и лишаях, и слесарь Тупальский, ссыльный из Риги, возьмет меня на закорки и с час мы проведем в лесу — и разве я могу взять кого на закорки? А самостоятельно — на что я годен? А мой «марксизм»? Когда

Федор Иванович примется объяснять «производственными отношениями» самое, казалось бы, темное, запутанное в жизни человеческой, выходит все просто, наглядно, стройно и вразумительно и уж никаких вопросов, а я в пустяках путаюсь.

* * *

На Пасхальной неделе, по распоряжению из Вологды, у меня, в моем углу сделали обыск. Тут я познакомился с Надеркиным, имя которого прозвучало для Марианны в моем Надеждине: Надеркин предводительствовал «персидскому» шествию полиции, один в штатском, но, как все, в валенках («Слоны — в сапогах»).

Мне его было жалко: забитый и ослоненный, такие попадают лица от природы мокро-вытаршенные; а держался он робко и подобострастно — хотел выслужиться!

Обыск ничего не дал — зря Надеркин старался — даже мои рукописи на больших листах, только пальцем потыкали, мой почерк очень понравился; а книг столько — нешто мыслимо пересмотреть, а главное, как отличишь запрещенное от дозволенного, это не Москва, не Петербург, даже не Вологда, где в полиции служат ученые профессора и лица духовного звания и во всем разбираются. И взять ничего не взяли.

Я подписал протокол. И все.

Да, о «незаконных собраниях» (по вологодскому пункту) — что вечерами всю зиму книжки читал вслух.

— Но ведь я читал сказки, — сказал я, — и кроме хозяев никого из посторонних; случалось, Марианна приведет подруг: учительницы.

— Эти не считаются!

— Самовар поспел, давайте чай пить! — предложил я моим гостям.

(Потом от своих мне будет укор: «чего с полицией возжаюсь?» — а я, ей-богу, искренно о чае).

Отказались: неловко городских задерживать — стража стояла вокруг дома, как полагается в таких случаях.

Забредший сапожник Петров, тоже ссыльный, из Вильны, лихой гармонист, на грибных ножках, запустил «Варшавянку». (Это все для безобразия!).

Так под «Варшавянку» и тронулось «персидское» шествие с пустыми руками назад в полицию: впереди Надеркин, за ним пристав и городовые: пристав и городовые — в валенках («Слоны — в сапогах»).

Домашние отнеслись к обыску равнодушно, только Оде весь час простояла за дверью: она боялась, что меня уведут и я не вернусь. Никого не удивило и по городу,

и не обо мне была речь, а о доме: чего и ждать от такого дома, в тюрьму угодишь — ничего удивительного.

На Красную Горку пан Ян не выдержал и вышел прогуляться. И только во вторник вернулся драный, испитой и вихрастый и не глядя, сел молчком кончать дровавшими руками просроченные туфли Марии-Антуанетты.

А пока колобродил пан Ян — он начал с трактира — молва гналась по пятам и рассвечивала его мрачные похождения. Кто-то подсмотрел в щелку — видел собственными глазами, — как ссыльный поляк от Геллер нетвердо вошел в сарай, расстегнул на себе штанной ремешок, повесил на крюк и стал прилаживаться, но тут его спугнули, был он очень недоволен и ругался, слов только не разобрать: «хотел повеситься, несчастный!» И опять все свалили на дом: кроме беды, другого и ждать не приходится. Я уверен: загорись дом — сгорит, никто и пальцем не пошевелит.

Пасха была ранняя. И Семик (четверг на Зеленой неделе перед Троицей) пришелся на конец мая. Прошла река — какая гроза и раздолье! — прогремел первый гром, легонько побрякивал, совсем-то не страшно: северный Громовик не громче Костыги.

На рождение Оде — ей исполнилось четырнадцать — приехала из Усть-Выми домой Марианна.

Я навострился: сдержит ли Марианна слово, расскажет ли мне *все*, и какая это будет сказка. Но случилось, и как раз в день ее приезда, в Семик, для меня загадочное, а другим — да иначе и не могло быть, — и уж не от кого таиться, «всё» — налицо: Оде пропала.

Ее найдут в лесу на острове, но домой уж не вернуться: ее широко раскрытые глаза, синие до черни, захлебнулись — то ли задушил ее кто, то ли сама задохнулась.

Несбыточные происшествия

Та своенравная судьба — она своими пальцами вглодалась в горло Дездемоны и вырвала глаза у Эдипа, и вот — смотрите! — она «подстригла» мои купальские глаза (я родился в купальскую ночь). И мне открылась — на какой-то крест мне — странная жизнь на земле непохожих мар и внев. И я заглянул в их круг.

Эти водяные, воздушные и подземные — не зверье и не люди, они изнывают в солнечном смертном круге свою бессмертную долю.

Человеку это не открыто — есть заказанный лунный выход; мечта их — чужой

смертный жребий, стать человеком — единственная надежда.

Зыбь, они колыбают землю, горькими чарами чаруя и тоской истаивая сердце человека.

Они зачаты в роковую встречу Сестры и Брата — Кручины и Света. Из восторженного сердца возник мир: звери, птицы, рыбы, деревья, травы, человек; озаряя землю лучами солнца, Свет поднялся на Брусняные горы выше, над высью солнца, за месяц, за звезды, за радугу — недоступно; Свету, его заповедной солнечной мере, они неподвластны, они вышли из сырых туманов и извечной горечи: не родятся и не умирают, безысходно.

* * *

Когда Оде исполнилось семь лет, в дом повалило счастье. Это очень важно, но важнее то, что в доме по ночам стало твориться необычайное. Это связано с Оде.

Оде, как зверек самый быстрый, день-деньской по двору бегаёт; сестры старше, подруг не было, и все одна скачет, и в какие-то игры играет, смотреть чудно. Растреплется, раскраснеется и вся-то вымазанная, испачканная; куда только не лазила, куда не пряталась — белка-и-мышка. А вернется в дом по-часту прямо в кровать, не поужинав, не умытая, да так и заснет.

И вот что странно: на утро не узнать — вся вымыта, лицо свежее, волосы расчесаны и сорочка белым-бела, и кровать прибрана, и подушка взбита, и около кровати выметено, вычищено, блестит. И что еще страннее: ночью. По ночам слышно: вертится веретено и нитка жужжит, а в заводе никаких веретен не было, никто не пряд. И под мерное веретено так сладко спалось, и куда уж встать проверить, лён на другой бок перелечь.

Спрашивали Оде. Да никакого веретена она не слышит. А всякую ночь чудится ей, будто она в каком-то саду, серебряные и золотые яблоки и птицы, только на картинках такие, с длинными хвостами и голова ящерицы, и деревья, выше самых высоких елок, но без крестов, в коронах — она не говорит хвощи, а это были доледниковые папоротники, и с их корон сыпались искры — такие яркие горели солнца над ними: цвет месяца — и заревой, и розовый, синий и зеленый — и в искрах играла музыка.

* * *

Все ушли со двора, в доме одна Оде. Был тихий день, тепло.

— Куда задевалась моя палочка? — с

этой палочкой Оде бегала последние дни, играя в свои игры.

Оде шарила по углам: ну, не помнит, куда сунула. И вдруг видит: из-за печки кошка — в доме не было кошек — и очень большая, таких она никогда не видела — серая, белое брюшко и голова большая, несуразная, ярко-зеленые глаза, а длинный пушистый хвост трижды обвивался вокруг шеи, и вся светилась, точно из хрустала.

Кошка ласково посмотрела и протянула ей длинную мохнатую лапу: когти выблискивали из-под пальцев.

Оде ничуть не испугалась: или оттого, что уж очень чудная кошка, неправдошная. Не испугало Оде и то, что лапа с блестящими когтями показалась чересчур холодная и какая-то легкая, приставная.

Как по волшебной указке, палочку Оде нашла сейчас же. И прямо за дверь во двор прыгать белкой и кружиться мышкой. Она представляла себе как во сне: она играет в саду — серебряные и золотые яблоки и искрящиеся музыкой деревья.

(По тем местам яблоков не водится, репа взамен их).

И только к вечеру Оде угомонилась, часов она не замечает, не заметила, что давно вернулся отец и мать и сестры.

За ужином она вспомнила про свою палочку.

— А что эта кошка, откуда она?

— Какая еще кошка? — нетерпеливо сказала мать.

— Да там! — Оде показала на печку.

Не обратили внимания, и только потом все вспомнится! Да, было не до кошек. Отец — он потерял всякую надежду побывать на родине, и вот, по какому-то милостивому манифесту, получил свободу: с него сняли надзор и только ограничения, как бывшему ссыльному, но это касалось Петербурга, Москвы, Варшавы, а в Познань, родной город, путь чист.

Как спать ложиться, Оде тихонечко к печке. И не ошиблась: за печкой сидела кошка. Оде сама ей протянула руку.

В ответ кошка повела *так* усами — и без слов ясно: не надо было Оде говорить про нее, и никто чтобы не знал о ней.

И долго держала она руку в своей холодной когтистой лапе, потом плечами так сделала, как вздохнула, и отпустила руку.

В эту ночь особенно чутко веретено вертелось, и горький голос закатывался из жужжащей нитки.

Слышала мать, и из глубины ее чувств подымалась перед ней со счастьем мужа неизбежность разлуки — разлуки навсегда.

А у отца, он тоже слышал, тле-ла

горечь свиданья — ведь время, как вода, сотрет и самую глубокую память бесследно.

Но веретено в-перемоть крутилось, баюкая, отдаляя срок.

И для Оде в ее волшебном саду в эту вещую ночь музыка была такая — так сама она рассказывала поутру — отчего-то вдруг плакать хотелось.

* * *

Тайна матери — невыговоренное предчувствие разлуки; тайна отца — невыговоренное предчувствие разочарования. И у Оде была своя тайна.

И всякий день Оде встречалась со своей странной подругой, рассказывала ей о своих играх и о чудесных снах.

Кошка слушала, навостря уши, видно было ее забавляли наивные детские рассказы и как, еще не вросшие, слова выговариваются с передышкой. И каждый раз, как уходит Оде, она долго держит ее руку, не отпускает, не отпустила б! — долго держит и всегда так плечами сделает, как вздохнет.

И уж Оде тянет в дом — она не так бегаёт по двору, как раньше день-деньской, а все около печки.

Ее удивляет, что хвост у кошки такой пушистый, а легкий как пар, не ухватишь, и такие острые когти, а ничуть не больно, только холодно. И как-то взяла она ее за лапу и губами подула, лаская, — и как будто не так стало холодно. И, забывшись, все просила сказать ей, почему так холодно?

Немая, с грустью смотрела кошка, и в ее зеленом переливном взгляде было как в той музыке, вдруг плакать хотелось.

Отец и мать забеспокоились: что случилось с Оде, о чем все думает и из дому ее не выманишь, а ведь еще так недавно со двора не дозваться: все-то около печки и кому-то рожицы строит и разговаривает: если это в игру — странная игра! или вдруг заплачет...

Пробовали говорить, а Оде только улыбается лукаво — так дети улыбаются — это их тайна, такой лукавой улыбкой завешена.

Но особенно не настаивали: не мешает.

По-прежнему кто-то о ней заботился: умывает и охорашивает. И веретено всю ночь вертится, нитка жужжит, уводя от горьких дум к «радужным» мечтам, и баюкая.

Мать поднялась среди ночи, засветила свет — все видно.

Оде сидит на кровати и руки так протянула, точно что-то держит, и улыбается; потом опустила голову в подушку и повертывалась, точно кто-то причесывал ее.

Со свечой мать подошла поближе, но не смела окликнуть: очень глаза у Оде были странные, она смотрела *через* — жутко смотреть человеку в такие глаза.

* * *

Оде привязалась к своей кошке — неразлучны. Тонкий прозрачный лед окутывал кошку, но сколько таилось теплоты и любви в ее взгляде. Оде чудилось, и без слов говорит ей кошка, что из всего ей дороже всех Оде: и ни отец, ни мать, ни сестры так не любят ее, и все-то ей будет делать и даже то, что ей трудно сделать, для нее делает.

Кошка подымала свою когтистую лапу и, проведя по лицу Оде, обмахивала хвостом. И эти прикосновения были, как свежий воздух: дышится легко.

Оде не могла не заметить, как она чиста и нарядна и все вокруг нее блестит, стоит только подумать, и все исполнится. Даже в таком: все жалуются на холод, а ей — не замечает, или говорят — темно, хоть глаз выколи, — а ей как днем, точно кто-то ей светит и греет.

Оде видела заботу о себе, и все это делает кошка. Но кошку никто не видел и никому невдомек, что живет она за печкой.

«Почему никто кошку не видит? И если она неправдашная, какая она настоящая?»

Когда-то были молчаливые игры, все было в движении — белка и мышка! — а теперь, играя около печки, Оде сама с собой разговаривала. И в этих разговорах проходили часы — весь день. А в словах, чаще всего, поминалась кошка.

* * *

А проходил теми местами странник.

Странники шли через Усть-Сысольск из Сибири, Пермь, Вятки, Верхотурья к Проконию, «Юроду Пречистая Девы Марии»: река и звезды — их сестры, лес будет им братом, пустыня — невеста.

И как вошел странник в дом, озирнулся, глаза горят — сел молча, задумался.

Отец и мать ему о Оде все с самого начала, когда ей исполнилось семь лет, и какая она была и какая нынче, про веретено и, как играя, разговаривает сама с собой, и как смотрит, улыбаясь — так улыбаются только тому, кого любишь и кто тебя любит, и вдруг заплачет; помянул кошку.

Странник внимательно слушал и говорит: — Кикимора у вас в доме, добрые люди.

Они испугались. И каждый из них подумал: в чем же я виноват?

— Вы ни при чем, — сказал странник. — Кикимора не демон, — и подумав: — только опасно.

— Да ведь зла мы от нее не видим, — сказала мать, — в делах удача...

— Удача! — перебил странник. — За удачу бывает расплата.

И с грустью посмотрел на мать. И она, что-то вспомнив, вздрогнула — а это она про свое, про свою ночную думу: разлуку.

— Крестом их не взять! — бормотал странник, — крест на отверженных и проклятых, а этих крестом ни! Кикиморы, лешие, водяные — Христос их не гнал: «ветер и море слушались Его». Каждый в своем волен: кикимора — лесная.

(Я бы прибавил: кикимора — химера, не демон, и помянул бы добрых отцов XVIII века: l'abbé de Villars, Pègre Bougeant, Don Pernetto, милующих всю Божию тварь: и сильфов, и саламандр, и ундин, и гномов: помянул бы и Юстина Кернера, покровителя духов.)

— Кикимора неспроста к вам пришла, — продолжал странник, — есть что-то у нее на уме. Не зло, только опасно. Добро ее может всегда повернуться злом. В семь лет игра, серебряные и золотые яблоки, а в четырнадцать, тут уж без сказок — опасно! Их мир печален, молчалив, затаенный, из круга их жизни никому не выйти, но как-то перемениться, переступить черту — это искра воли, мечта о свободе и у них живет: они, как человек, страдают в этом *неполном*, по нашему гордому человеческому разумению, *недоделанном*, *ошибочном*, на наш гордый человеческий глаз, Божьем мире, где счастлив только тот, кто любит! — И посмотрел на мать.

Она глубоко вздохнула. Если бы могла выразаться, она бы сказала:

«Какое это горькое счастье — любить!»

— А переменит их только любовь, — продолжал странник, — только через любовь к человеку они на какой-то срок могут выйти из своего круга. Но полюбив, овладеть любимым... их мера не наша и человеку не под силу. Сказка-складка, вся их жизнь в сказке, а у человека в песне, песня-быль, а когда пойдет вперемежку, жди беды.

Отец и мать просят освободить их.

— Крест им не противен, но есть другое средство, — сказал странник и поднялся.

Он ходил по углам и шептал. Отдельные слова звучали ясно:

— От летучего — от пльвучего — от ходячего — от ползучего — от скачущего — от прыгающего — от хохочущего...

И руками, как вызывая, он волновал воздух, и туда и сюда — прочь за окно.

Он заглянул за печку — кошки никакой не видно. Долго стоял он молча, глазами *через*, как Оде ночью. Потом, пятясь — лицо к печке — медленно дошел до двери и быстрым во двор. Взял горсть земли и, став на пороге, трижды перебросил землю *через* плечо — из сеней туда.

— Через три дня, — сказал странник, — будете свободны, притерпите.

И наступила жуткая ночь, когда странник простился и ушел — туда!

* * *

Белая ночь — огня не зажигают.

Ближе к полночи мать задремала и — вскрикнула: в ее глазах синие огоньки прыгали по полу. Отец поднялся посмотреть и среди комнаты вдруг отшатнулся, ровно б наткнувшись на что-то, а ровно ничего не было, и не сделав и шагу, опять: что-то подсовывается под ноги, и пропадало. Синие огоньки прыгали по полу.

А когда сон одолел и все улеглись, дом как сдвинулся, окна зазвенели и посуда посыпалась об пол бабуретка. Стукотне и злому лету конца нет и не будет — всю душу выворачивало. И уже не синие сухие огоньки, синий блеск глазетных ящериц шнырью суетил дом. И все вдруг затихло. И только чутко, как кто-то мягко ходит по комнате и медвежонком сопит. А это еще жутче стуков, лёта и воя: открыть глаз не смели, и не помнят, как доканал сон.

А на утро открылось: и смех и грех — безобразие: отец лежит головой к ногам — ногами в подушку уперся, мать под кроватью и так забилась, едва вытащилась, все руки ободраны и пыльное нос забит, а сестры: Марианна на животе, гузном наголь, Аннушка задрала ноги к подбородку и руками придерживает.

И только Оде, она ничего не слыхала и как всегда, умыта, прихорошенная, и вокруг ее кровати все на месте, ничего не задето, блестит...

* * *

С понедельника Оде не выходит. Завороженная не отходила она от печки и не отзывалась. Печальное, устремленное в ее глазах, она протягивала руку и так держала, как бы держась за чью-то. А какая горечь в ее улыбке — неизбежность цветла горьким светом ее побледневшие губы: ее кошка покидает дом!

Но было не до Оде: с понедельника

все перевернулось, хуже тюрьмы. И когда наступила третья ночь и, как в первую, запрыгали по полу синие огоньки и чьи-то цепкие руки хватают за ноги, все сбилось в кучу — казалось, дом рушится и вот-вот придавит. А когда за ящерицами все затихло, тот самый, кто сопит медвежонком, ходил со штопором и каждого раскупоривал, вытаскивая из головы пробку — искры летели из глаз.

Не знаю про зверей, а человек терпелив, может долго не огрызаться. Но есть мера — больше не вынесешь и это, непременно скажется. Оставалось покинуть дом — и пускай все добро пропадет: больше невозможно!

Оде поднялась как всегда, она ничего не замечала и сейчас же к печке. И что-то губами так сделала — покликкала? И вдруг забеспокоилась, кошки ее не было. Еще раз покликкала и выбежала во двор.

Это была прежняя Оде — белка и мышка. И не было ни угла, ни закоулка, ни норки, ни щелки, куда бы не заглянула она — двор был как выметен ее ищущим глазом.

Она стала среди двора на кедровом пне и, не спуская глаз, смотрела на крышу — там у трубы сидит кошка. Да, это была ее кошка — и такая обидя в ее глазах, она манила Оде жалобно.

Оде пригнулась и — к стене, и по стене, карабаясь — сама кошка, — на крышу.

Она стояла на самом гребне и, как во сне, смотрела *через* и улыбалась: сколько счастья в этой улыбке и какая горечь! Запрокинув голову, она протянула руки, точно кто звал ее за собой, а сам подымался — ее кошка была выше трубы.

Первая заметила Марианна и позвала мать. И отец и мать вышли во двор.

Оде, упираясь о карниз, держала руки, подняв высоко над головой, глазами к поднимавшейся все выше кошке.

И это казалось так невозможно — так долго длится, это такое — это страшно. Мать не выдержала и застонала. И жалобный слабый стон громом ударил в затаённое дыхание Оде, и она, ровно кулек, сорвалась с карниза и упала на землю, лицом — туда!

Она лежала на земле — ни кровинки и ушибов не заметно, холодная, не дыша. Отец поднял ее и перенес в дом. Положили под образа.

И в доме все затихло.

* * *

Ошалелые за три ночи, отец и мать и сестры тыкались по комнатам, собирая чепки и стеклышки.

За таким немудреным занятием застала их какая-то наброжая: дверь в дом не заперта, замок выломан, без стуку вошла.

Она была нездешняя, вся закутанная в платки — самоедка, что ли! — очень чудная, не горбатая, а смотрела как горбатые, вверх.

Как ей обрадовались: живая душа. Показали на черепки — а она уж все знает.

— Вам, добрые люди, надо позвать кикимору! — говорит она, не смотрит, только видно, как в глазах чуть светик беспокойно половеет.

— Какую, — говорят, — какую еще кикимору!

Совсем они сбились с толку. Сейчас у них тихо, ушла кикимора, странник увел ее, и вот опять...

— Да вы не бойтесь, — сказала Кикимора, — я вам зла не сделаю.

Поверили. Со страху не только кикиморе, а и человеку поверишь. Повели ее в комнату, где под образами лежит Оде.

Как тот странник, озернулась кикимора, втянула в себя воздух, как подумала, и велит им выйти.

И когда они скрылись за дверью и она осталась одна, она близко подошла к Оде, протянула к ней руки и вдруг перевернулась — платки упали с ее плеч, вся выпрямилась — тонкими пальцами провела она по ногам, к сердцу, а от сердца к шее и выше по лицу.

И Оде очнулась.

Перед ней стояла вся в легком весеннем пухе такая, как Марианна, — и эти папоротниковые глаза — зеленое с черным — выблискивали волшебным купальским цветком.

Оде невольно закрыла глаза и увидела свою кошку — и, протянув ей руку, улыбнулась.

Но ее руку задержала не кошка, а та — Марианна — с папоротниковыми глазами, чаруя волшебным купальским цветком.

И в первый раз Оде услышала ее голос: как весенний бегучий ручей зазвучали слова:

— Мы не родимся и не умираем. Мы, как цветы цветом и как деревья зеленеем. Но мы и не цветы и не деревья. Наш век — без срока, наша жизнь без боли, без страха... — И она вздохнула. — Пройдет шесть весен, настанет седьмая. Запомни! Я люблю тебя больше, чем любит тебя твой отец, больше, чем любит тебя твоя мать. Помнишь, в твоём саду? Помнишь, музыку? Я буду всегда о тебе тосковать. Плакать — да слез нет!

И она сделала так руками — обнять

хотела, но не коснулась, а виновато опустила глаза — и вдруг как веем повеяло.

Оде глубоко вздохнула, поднялась и видела: какая-то, вся закутанная платками, вышла из комнаты.

* * *

Прошло шесть весен. Вспомнила ли Оде за эти годы? Нет, она как проспала эти годы без сновидений, и только что-то мое, во мне таящееся, пробуждало ее смутную память. Забвение — это человеческое, а там — все живо, как сейчас. Там ждут срока. И вот пришла черед.

Я заметил большую перемену в Оде: не так смотрит и в голосе другое. Я спросил у матери:

— Что с Оде?

— Оде теперь уже большая, — сказала мать.

Я понял.

Был теплый день, ровно летом.

Оде, и с ней все такие же — этой весной они стали большими, — затеяли ехать на остров справлять Семик. И весь день пробывали они в лесу.

Вечером, когда над рекой зажглись и разгорались две зари — вечерняя и утренняя, — их лодка, собирая с окрашенной воды густые розовые пенки, подплыла к берегу, оставя за собою синий след, — какая пестрота от цветов и как звонко звенят голоса!

И только не слышно голоса Оде.

* * *

Выбиваясь из сил, запыхавшись, добежала Оде до берега, когда лодка подходила к тому берегу домой. Она слышала голоса и сама пробовала кричать, но своего крика не слышала, так она была обессилена. Она видела, как вышли из лодки и белой ниточкой потянулись вверх в город. И тут ее кто-то окликнул, и ей стало страшно. Она поняла, что не с реки ее звали, а из лесу. Хватятся и поутру приедут за ней, надо только ночь перебыть. И опять ее кто-то окликнул, и ей показалось, не один голос и ближе.

Белая ночь — медная, пронзанная зеленью. С реки поднялись сырые туманы и закрыли берег. И стало вдруг очень холодно.

Оде отошла недалеко, все-таки там теплее, и забила под старую ель. И опять ее окликнули, но в оклике не было ничего угрожающего — так завтра поутру будут ее кликать вернуться домой.

И ей представилось, что она дома, только это не их комната — очень низко, как ящик, и дощатая желтая, а краска слиняла и стены кажутся грязными и нет окон,

а дверь с отвором, но без ручки, и от двери к стене стол желтый, как стены, и ничего на нем, как в бане. По другой стене кровать. Она хотела сесть на кровать, а из-под пола от двери, видит, вышли и идут к столу крысы: впереди очень большая, в кошку, за ней поменьше и три маленькие, как мыши. «Уходят от холода, — подумала она, — да есть ли тут щель?» И хочет под стол заглянуть и видит — Марианна: Марианна успела ухватить и держит в руке самую большую крысу. «Молотком, — говорит, — да скорее!» Оде поняла, надо крысу по голове ударить, а молоток на кровати. И шарит она по одеялу, а молотка нет. «Да скорее!» — торопит Марианна. И нашла. Взяла молоток и наметила крысе по голове и со всех сил ударила — а Марианна вдруг сжалась вся, присела и судорожно пальцами заиграла по крысе: не по крысе, по руке ей ударила Оде молотком. Как колбаса вылезает из кишки, так под пальцами Марианны оторвалась голова у крысы, и Марианна себе на ладошку и показывает. А голова оказалась не крысы, а кошки — мертвая мокрая кошка с белыми вытекающими глазами. «Как мне нехорошо!» — подумала Оде и зажмурилась. Она сидела на жесткой кровати, а перед ней неотступно мокрая голова мертвой кошки — и серые усы торчат. В глазах кололо и, не вытерпев, Оде открыла глаза. И увидела кошку — и страшно обрадовалась, узнала и протянула ей руки: это была та самая кошка серая, белое брюшко, неправдашные лапы с холодными блестящими когтями и легкий пушистый хвост, трижды вокруг шеи. И на глазах Оде шкурка с кошки упала, и Оде увидела: перед ней стоит та, из ее сна, в зеленом, весенним пухом покрытая, теперь Оде все вспомнила и ужаснулась. Она стояла перед Оде и виновато ошуршивала рукой красные листья на себе, на груди. «Тоска, — шептала она, — такая тоска!» И глаза ее — папоротники — какая это смертельная боль, опустившаяся на дно их, горечью — черным огнем — светилась! И она совсем близко — ее красные листья шуршат на руках Оде. И нагнувшись к Оде, к ее лицу, она взяла ее за подбородок и, отклоня, поцеловала в губы глубоким, крепким поцелуем — Оде почувствовала что-то черное там в этой глубине и никогда не кончится. И вдруг черным из той черной глубины завязало глаза ей — мертвая петля!

* * *

А не скоро нашли Оде. А и искать-то было нечего: тут же на берегу под старой елкой — как забилась под зеленую бороду

лишайника, так и сидит. Над ней красные еловые свечи и осыпана желтой пылью. Как живая, только на подбородке слева кровавый подтек, и нижняя губа отстала слева ж, точно ей выдернули зуб.

«Кикимора, играючи, задушила!» — так объясняли (объяснить все можно).

Семь бесов

Его и звали не по-человечески: Подстрекозов. Человеческое, наше православное: дурак, свинья, кобель или просто собака; копыл, курбат, кутуз; бедро, шило, чулок, дудырь, каша, конур; зуя, брага, зоб; дорох, гневаш, молчан; волк, лисица, кот... а тут нате, Подстрекозов.

А имя ему самое любимое исстари на Руси: Алексей. И совсем это не вправду, как сказывают, будто Иваном да Петром крещена Русь, проверьте по разьежым, отказным и правым: два имени среди имен частят — Гридя и Алексей в ласкательном, журия и шуня, беспереводно в русских веках на русской земле.

А показался этот Подстрекозов на Сысоле, подобно как у Гоголя на Опошнянской дороге в теткинском шинке «бесовский человек» Басаврюк. И замутил усыльчан, просквозясь в сыпучую скуку, как внешнее наливье, — грохот, смех, завирай, огурство. И не было человека, кому б не поздоровилось от его волковни: проведет, утолочет, перепутает — ходи потом дураком до неизбытности.

Федор Иванович Шеколдин человек учительный и верховой, посмотреть на такого и всякая дурь и каверза из мыслей без пробочника вылетят, а как начнет из старых книг говорить — высоким ли книжным слогом живописных Макарьевских миней, точным ли словом царских дьяков московских приказов или звонким и крепким разговорным просторечием, чего только он ни читал! — и воспитание, уклад и навык, знакомые по Мельникову-Печерскому: Миндяковские, Коноваловы, Шеколдины — «в лесах и на горах», Шеколдин с первого слова почуял и припечатал Подстрекозова: «семь бесов». И как остерегал всех нас: держите ухо остро и осматривайтесь! — а сам, и посмотря, в лапы ему попался, и без выдерки.

* * *

В Великую Субботу с утра мело.

Случись в Рождественский сочельник — другое дело, а под Пасху ждешь весну — очень было тоскливо. Я давно заметил, тоска не только от незадач, когда все не делается так, как хочу, нет надежды повернуть по-своему, но и от непогоды бывает.

Бесы же, как известно, нечувствительные, им что тепло, что зябко; что ел, что натошак, а человеческий разлад и выверт они за версту чувят, и тут на ихний крючок и нехотя сам залезешь да и впиавшись с мясом и костями — дрыгай! им в смех, себе на посмех.

Шеколдин загада зашел на старое зырянское кладбище к Подстрекозову, вместе пойдут на заутреню в собор к Стефану Великопермскому. Все на Шеколдине было по-праздничному, и сам он глядел праздником, и только не умудрился подстричь бороду.

В нашей Печорской дебери ни цырульников, ни парикмахеров, а если надобность, обращаются к городовому Шекутееву. Весь пост Шеколдин собирался к Шекутееву, да все что-то мешало: Шеколдин — наш староста, дел не оберешься — к исправнику, на собрания, да и почитать хочется.

Подстрекозов, оглядя фотографически, одернул ему рукава, подтянул галстук.

— Позвольте, Федор Иванович, — а глаза так и загорелись, — да я вам бородку подправлю!

Другой бы раз Шеколдин, может, и подумал даваться ли, но тут под Пасху...

— Так с боков разве? — И он погладил себе свою паклевую водоросль слева направо и справа налево.

И откуда что взялось, вот уж подлинно бесовским мановеньем, ведь это в Усть-Сысольске, одеколон, мыло, пудра и ножницы — большие редакторские для газетных вырезок и кургузые — не то нагар со свечи срезать, а скорее когтевые они, известные по картине Гойи. Не хватало бритвы.

— Ничего, я этими, — и Подстрекозов взялся за когтевые, — чище и глаже бритвы.

И что-то еще добавил о неподдающей прочности когтей (конечно, бесовских) несвязное и все поперхивался и зачем-то, спохватываясь, на кухню или за прыскалкой?

Не поддайся Шеколдин пасхальному умилению и что на воле не весна, а метель — какая досада! тут бы вот и одуматься, время еще есть. Что говорить, Подстрекозов выбежал на кухню не за прыскалкой, а выдохотаться: мысль, какую бородку вытешет он из паклевых водорослей, пенилась горным потоком.

Стенного зеркала в бесовском стойле не водится — Усть-Сысольск не Париж! — Подстрекозов поставил на стол раскладное, в котором Шеколдин никак не отражался и ловить себя не мог, чтобы вовремя одернуть себя, и все-таки сидел он перед зеркалом, как в лучшей парикмахерской.

И все начинается по-настоящему: на нем белая занавеска с вороту до полу, за ворот напихана вата, и чешется.

Подстрекозов зачем-то шелкнул в воздухе редакторскими — и черепашым ладом, пострекивая, пошли вдоль зарослей когтевые.

Был девятый час и в гул метели вошел колокольный — в соборе ударили к Деяниям.

— К Деяниям поспеть бы!

— Поспеем.

И под ножничный стрекот неугомонный заговорила неизгладимая память.

* * *

«У нас в Кинешме, — Шеколдин сдунул волосок, назойливой бабочкой насканивал ему на губу, — как окончат Деяния и начинается Полунощница. А после канона, последняя песнь «Не рыдай мене, мати», как унесут в алтарь плащаницу и наступит самое — не тебя, сам себя осматриваешь — до слез трепетно».

«Тогда игумен и с прочими священниками облачится во весь светлейший сан, — вкрадчиво, по-писаному и истово, заговорил Подстрекозов, — и раздаст игумен свечи всей братии. Параклисиарх же вжигает свечи в кандила церковная перед святыми иконы; приготовит и углие горящие в двоиных сосудах помногу. И наполняют в них фимиама благовонного подовольну, да исполнится церковь вся благовония. И ставят один сосуд посреди церкви прямо царским дверям, другой же внутри алтаря. И затворят церковные врата — к западу. И возьмет игумен кадило и честный крест, а прочие священники и диаконы святое Евангелие и честные иконы по чину их, и исходят все в притвор. И тогда ударяют напрасно в канбонарии и во вся древа и железная и тяжкая камбаны. И клепят довольно».

Подстрекозов когтяными забрал глубоко и из водорослей вытесывается колышек серым гречником.

«Выходят же северными дверями, впереди несут два светильника. И, войдя в притвор, покадит игумен братию всю и диакона, предносящего горящую лампаду. Братия же вся стоит со свечами».

Время бежит, никаким ножницам не поспеть — Деяния окончились! — а Шеколдин, он в притворе стоит со свечою, не замечает, не чувствует, что с одного бока у него вытесалось, а другая сторона в куст.

«По окончании каждения приходят перед великие врата церкви; и покадит игумен диакона, предстоящего ему с лампадою, и тогда диакон, взяв кадило от руки

игумена, покадит самого настоятеля. И снова игумен, держа в руке честный крест, возьмет кадило и назнаменает великие врата церкви, затворенные, кадилом крестообразно, и светильникам стоящим по обе стороны. И велегласно возгласит: «Слава святей и единосущней и животворящей неразделимой Троице всегда и ныне и присно и во веки веков». И мы отвечаем: «Аминь». Начинает по амине, велегласно с диаконом: «Христос воскрес из мертвых, смертью на смерть наступи и сущим во гробех живот дарова!» — трижды. И мы поем трижды — «Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его!» Мы же к каждому стиху: «Христос воскрес» — трижды. И скажет высочайшим гласом: «Христос воскрес из мертвых, смертью на смерть наступи!» — и крестом отворив двери, ступит в церковь. И мы идущие за ним подхватим: «И сущим во гробех живот дарова». И тогда ударяют напрасно во все древа и железная и тяжкая камбаны, и клеплот довольно — три часа».

— Три часы! — протянул за Подстрекозовым Щеколдин, выговаривая стоглавым хвалословием из Службника Великого государя Святейшего Иова патриарха Московского и всея Руси.

И как в откол внезапно ударило — пасхальный звон у Стефана Великопермского. Наваливая чугуном — колокол на колокол — весенней тучей первой в белую заметеленную ночь, раскатывался звон над сугробной Печорой, катясь к Железным воротам за Камень в Сибирь.

Запеленутым Лазарем Щеколдин поднялся.

— Федор Иваныч, только срежу кустик, живо и конец! — колокольчиком прозвенел Подстрекозов, умоляя.

Щеколдин, не поколеблясь, смиренно уселся.

И заработали когтяные, без стрекота вглубляясь под корень.

— Очень мягкий волос, — сказал Подстрекозов, — у кошки поди под шейкой грубже, гагачий пух. К заутрене поспеем. Одних риз сколько переменят, поспевай подваливать. А у нас в Толмачах на каждую песнь другая: золотые, серебряные, бархатные. А на обедню облачение из-под дна подымут, царское и цвета такого нет — густое красное жемчугом расшитое, а на спине ковانه золото.

— Московский обычай, — прошамкал Щеколдин, боясь раскрыть рот, — тут, чай, в одних — белые.

А время не ждет, затаилось.

А это значит, время летит.

Щеколдин, как во сне, одеревенел.

— Успеем, — утешает Подстрекозов, выговаривая Златоустом: «кто пропустит и девятый час, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся, и кто попадет лишь в одиннадцатый час, да не устратится замедления: велика Господня любовь». Он приемлет последнего, как и первого».

Узнает ли Щеколдин себя? Усы его тонкие нитевые и длинные, не поднимать, висят, как у днепровского печенега, а задери к вискам — Мефистофель.

Ударили к обедне.

— Христосуются! — с каким-то злорадством сказал Щеколдин, — а яиц накладут — полные корзины: вон попу побольше, дякону поменьше — красные, зеленые...

— Готово!

Подстрекозов сорвал белую занавеску и, как полагается, подпудря работу, прошелся пуховкой, сдунул застрявший волосок и так навел зеркало посмотреться —

— Полюбуйтесь!

— Что это? — потянул Щеколдин себя за то самое, что зовется у козлов и людей борода.

— Колышек! — Подстрекозов присвистнул. Так все было и без всякой бритвы живописно.

А Щеколдин мотал головой и курлыкал: да, как во сне, язык поворачивается, а слова выстригались.

Усы пришлось поднять.

Опечаленный Мефистофель об руку с искрящимся Подстрекозовым пробирались по занесенной дороге в собор.

Хлопьями снег летит. И в крути со звоном — с железным и тяжким — завывала метель отчаянно — для нее нет Пасхи — суровая — одна — моя дикая воля!

РОЗОВЫЕ ЛЯГУШКИ

Мое вступление в литературу

Титаны

Ровно полвека назад — Вологда.

Жили-были на Вологде три титана: Бердяев из Киева, Луначарский из Киева и Савинков из Варшавы — Николай Александрович, Анатолий Васильевич и Борис Викторович.

А на Москве два демона: Леонид Андреев и Валерий Брюсов.

В Вологде из Усть-Сысольска я приехал по главному делу и прямо с парохода попал в купальню: пять суток рыбообразил на Хаминновском Ангарце, запришибься купаться.

Хорошо, что теплая погода: комару в удовольствие, а мне как раз.

В тесной купальне, как и все купальни по примеру Силоамовой Купели, плескалась шушера и мелочь, но один из купальщиков обращал на себя всеобщее внимание. Это был природный вологодский титан, громкое имя Желвунцов, а по прозвищу «невесомое тело», в чем я убедился собственноразлично.

Желвунцов, помоча себе грудь, вошел в воду, лег на спину и, не шевелясь, лежит, как пробка, и только большими пальцами задних ног перебирает.

Я в моем растерянном, после дороги — или мне кажется, — глазам не верю. И тут сам он, видя мое удивление, заговорил человеческим голосом о «невесомом» и как такое противоприродное природой побеждается.

Между тем, один за другим, вылезая из воды, подходили к нему купальщики и с нескрываемым восхищением внимательно осматривали большие пальцы на его задних ногах: пальцы, и без того нахально торчащие, были онаперстаны двумя перепончатыми хоботками, припаянными прямо к когтям, — вращаясь, эти хоботки и держали его на воде, как пробку.

— Я природы свинячей, — вдруг сказал он: или вспомнил о чем-то, — отродясь ничем не бывал доволен, по мне все и всегда не так и не то, хорошее равно и нехорошее. Я изобрел эти пробковые аппараты — можете глядеть и трогать, только не дергайте. А тужусь над рычагом, собственноручно, чтобы повернуть землю. И потому все, насильственно попадающиеся в столицу Грозного, близки моему сердцу.

Я тотчас объявил, что я тоже ссыльный, приехал из Усть-Сысольска в Вологду по глазному делу.

— Без разрешения?

— На месяц.

— Плохо. Назад погонят.

А когда через месяц меня погонят из Вологды в Усть-Сысольск, я расскажу о моей купальной встрече с «невесомым телом» и о его рычаге повернуть землю нашему психиатру А. А. Богданову (Малиновскому), он будет слушать меня ласково, и особенно своими чистыми глазами глядя на меня:

— Желвунцов, — переспросил доктор, — ваша улица Желвунцовская?

— В честь изобретателя, — я ответил с какой-то даже гордостью.

— Того самого купальщика?

— Наверное. И он меня предупреждал. А какой грустный был день, — вспомнил я приезд в Вологду, — тепло без солнца и вода очень теплая: заглядевшись на «неве-

сомое», я не успел выкупаться и только помочил рога, — и я потянул себя за свои закрученные вихры.

Больше не спрашивая, доктор дал мне конфету — он всегда носит с собой очень вкусные «успокоительные» конфеты — постучал меня по коленкам — коленки мои подсакивали до подбородка — проверил со спичкой глаза.

— Я родился близоруким, — точно чему-то обрадовавшись, сказал я, — но иногда могу различать такие мелочи и на таком дальнем расстоянии, даже через стену, а во сне я летаю без очков.

На следующий день я получил свидетельство из Кувшинова, вологодская больница для душевнобольных, и по этому свидетельству, подписанному старшим врачом А. А. Малиновским, полицейстер оставил меня в Вологде еще на один месяц.

С особенной благодарностью я вспомнил Александра Александровича Малиновского (Богданов — его псевдоним). *Курс политической экономии* А. Богданова я знаю еще до университета. Высланный в Вологду, он занимал, как доктор, большое место заведующего в Кувшинове. В те годы, 1901—1903, он считался «заместителем» Ленина в России. Необыкновенно чистый, весь в своей блестящей черной блузе, и эти чистейшие детские глаза. Я думал, глядя на него, вот — настоящий человек, можно все поверить и все он здраво рассудит. Это как Короленко — от Короленко у меня такое же. Но я держался, как пациент: все мои слова и движения сковывал его осторожный ласковый взгляд, мой мир «с разрывом пространства» и снами и сам я, — «декадент», в его глазах я только «безнадежно свихнувшийся в Усть-Сысольске».

Желвунцов, в существовании которого усомнился А. А. Богданов, это-то я сразу пойму, как и значение «успокоительной» конфеты, живой перепончатый Желвунцов не бросал меня в мои первые вологодские дни. Он и устроил меня на своей Желвунцовской улице около вокзала.

Первое время я чувствовал себя очень одиноко, да и комната попалась какая-то дощатая, точно купальня, и сверчок нагоняет тоску: я тосковал по Усть-Сысольску. И как раз в эти-то крутящиеся минуты появлялся Желвунцов: присядет к моему столу и о чем-то глубоко все думает, или в его голову уже вошел рычаг и он, мысленно приладив его, мысленно повертывает землю, перекувыркивая весь мир.

— Вы плавать умеете? — вдруг спросил он.

- В детстве плавал!
- А самый лучший способ?
- По-лягушачьи.

И на мои слова он, как лягушка, оттолкнул в воздухе лапами — и передние и задние одновременно. В глазах порозовело, ну, живая лягушка. И я понял, что его рычаг в действии. И сам я попробовал, но у меня ничего не вышло: руки, да, лягушачьи, а задние лапы не отталкиваются. Так я и заснул, помню, по-лягушечьи.

«У вас температура лягушачья», вспомнил я слова доктора, когда после этапа в Вологде, перед отправкой в Усть-Сысольск, нас пригнали из тюрьмы в больницу на освидетельствование: я стоял нагишом на каменном полу и вздрагивал по-лягушачьи, — 35,8.

Вот откуда, должно быть, мое лягушечье воображение.

Желвунцов, видя мою задумчивость, решил меня развлечь: он покажет мне Вологду. Как я обрадовался. На меня это находит: я вдруг чему-то обрадуюсь. Один я никак ничего не нахожу, и самый точный адрес с подробными указаниями приводит меня не туда. Мне кажется, что от меня все убегает или прячется от меня, оттого так одиноко я чувствую себя.

Желвунцов начнет не с Собора — память Ивана Грозного, эти непробиваемые грозные камни, потом — он покажет мне живое, что тоже останется в моей каменной памяти: Бердяев, Луначарский, Савинков.

* * *
Ни Луначарский, ни Савинков еще не печатались, и только у Бердяева была книга *Субъективизм и идеализм в общественной философии*. По словам моего спутника, Бердяев «разрабатывал» историю русской идеи.

Бердяев меня очаровал: такой черной выблискивающей игры — его глаза, и больше ни у кого, да и похожего не найти. И как одет, в Усть-Сысольске я привык к шаурам, и на себе и на других считая: вязаная, оленья, беличья, зайчик — я как в оранжерею попал.

Первое слово особенно трудно. И почему это у людей непременно надо не ударить мордой в грязь? Не раз прочту о себе: «косноязычный», — нет, я не болтливый. Надо было что-нибудь по философии.

Мой спутник, как всегда, сидел у стола, глупо задумавшись.

«А что вы думаете о рычаге повернуть землю?»

И я не узнал своего голоса, как будто не я сказал, а тот — он.

Помню слова Бердяева:

«Нравственность, как и истина, — сказал Бердяев, — не может быть классовой, но исторически она принимает классовую форму, и носителем ее является тот общественный класс, который несет знамя общечеловеческого прогресса».

«Нет, философствовать я никогда не научусь», думал я, следуя за моим понурым спутником: он вел меня показывать Луначарского.

* * *

Луначарский трудился над пьесой «Королевский брадобрей» и готовился, под глазом Ильича, насаждать просвещение в России.

На меня нахлынуло море слов, и мой спутник, приютившийся в уголку под полкой, обернувшись лягушкой, ртом ловил, как мошек.

Я растерялся.

Я не мог определить, где и когда, но я уже видел — и эту в непрерывном движении, ей-Богу, как хвост живую козью бороду и безбрежные словолитвные глаза. А это был мой «Доремидошка». Но только потом в Петербурге, когда вся моя *Посолонь* будет представлена в виде игрушек, я его из всех рогатых и хвостатых сразу отличу.

Не знаю почему, я тоже нигде не печатался, но уж с Пензы, как приехал в Усть-Сысольск, была мне кличка «декадент». Луначарский переводил стихи Демеля из книги *Женщина и мир* — это графический конструктор, не чета Стефану Георге, германскому Рембо и Малларме, за свои фигурные строчки считался «декадентом». С Демеля и начался разговор, говорил Луначарский, а я ловлю мошек, подражая моему засмиревшему спутнику, ну хоть бы вставил слово, нет, как в рот воды. При всеобщем увлечении Верхарном, Луначарский поминал и такие имена, о которых, я думал, знает только Брюсов: Верлен, Клодель, Фор, Малларме. И еще сразу нас сблизило: Луначарский знал и Маха, и Авенариуса, тогдашних марксистских философов.

— Такого образованного человека редко встретишь, — вдруг провещался Желвунцов и глазами показывает на дверь: уходить пора.

А куда там уходить — речевая игра, как река в половодье: Луначарский читал Демеля и начал сцену из «Брадобрея». Анна Александровна, он только что женился на сестре А. А. Богданова (Малиновского), не раз входила: «простынет». Но голос ее слышали все, и я, и Желвунцов, выказывавший нетерпение, но только не

Луначарский. Голос Луначарского затоплял все голоса.

Через две революции, уже не в Петербурге, а в Петрограде, в Зимнем дворце, бессрочно дожидаясь в приемной, сквозь дрему, не столько голодную, а измотавшегося, истрепавшегося на непосильной домашней работе, я и через дубовую дверь слышал знакомый мне безупорный разливной голос, Луначарский не раз подписывал мне ордер на ненормированное и строго контролируемое: дрова. И всегда с припиской, для верности и исключения: «старому товарищу».

А когда я «по недоразумению» попал на Гороховую (дело о восстании левых с.-р., сами посудите, какой же я «повстанец»), первые слова, какими встретил меня следователь:

— «Что это у вас с Луначарским, с утра звонит?»

И я робко ответил:

— «Старый товарищ».

Чего я боюсь? Что такое я сделал? Но этот страх через всю мою жизнь. И я начинаю мой день: чего-то боюсь — вот возьмут и выведут меня на чистую воду, или безо всякой воды ошеломят. И не знаю, как это началось.

«Запуганный человек, — говорит Желунцов, — это плохо».

И я начинаю думать, что бы мне сделать и сбросить себя с себя — ведь страх мой не прирожденный и только ошкурил мою душу.

«Пойдемте к Савинкову, — сказал мой поводырь, — вот кто не робкого десятка».

* * *

Савинков печатал корреспонденции из России в заграничной «Искре» — марксистского толка, и рецензии в *Русском Богатстве*, и готовился бомбами расчищать путь Революции и прокладывать дорогу, — он был убежден, что для себя, — для Владимира Ильича Ленина.

Савинков подходил к вековой вологодской памяти: он был той же грозной породы, как соборный камень. Да еще Варшава. А при моей чувствительности — «гипертрофия чувствительных нервов», — я подобрался улиткой, вижу и спутник мой рога по карманам спрятал, сидит, как его и нет.

Для моего московского уха ополяченное русское, как древлянам поляне: все только настраивается, а музыки нет. Уж и так и этак, а из разговора ничего не выходит.

Перед встречей с Мартовым я думал: заговорю что-нибудь о «безлошадных», потом с Бердяевым — о философии, с Лу-

начарским вставлю слово о литературе, а с Савинковым — «Боевая Организация», ее еще и не было, но чувствовалась, а я, вы знаете: «боец» — мухам в смех, как тот гриммовский портной.

Выручил Каляев.

Иван Платонович Каляев служил ректором в *Северном Крае* и часто приезжал в Вологду к Савинкову: их соединяла Варшава, вместе учились. Каляев верил Савинкову беззаветно.

Какая открытая душа, я сразу почувствовал, и, верно, горячее сердце. Но внешне — варшавское воспитание — вот бы не принять за корректора, да еще с бомбами в руках, а ведь какого наделает шуму бомбой под карету великого князя Сергея Александровича.

— Кто этот пан? — спросил я моего спутника.

— Из «Снега» Пшибышевского, — отозвался присмиревший молчалиник.

— Янек! — Савинков раскаменел.

Пшибышевский легок на помине: Каляев перевел «Тоску» Пшибышевского.

— Хотите послушать?

И он начал. В его чтении русских звуков я не слышу: Варшава и его мать полька, а отцовское не узнаешь, и почему Ка-ля-ев, трудно понять.

Я люблю «Трубы словес» Голятовского, словозлив Гоголя, жемчужную россыпь Марлинского (Гоголь сказал бы: «перловую») и то, чего в нашей крепкой природе нет: мы под татарами и языком, и ладом, и чувствами, распространяться нам не рука, заморозишься, да и недосуг. У нас и «святые» или юродивые или «общественные деятели», строители и колонизаторы: и чудеса их: или «процвела пустыня», или сам огонь потерял силу, больше не жжет их и тело не сгорает. И этот, не русский цвет души — этот трепет — тоска — Словацкий, Красинский, Норвид — тянет любопытно, но у самих у нас, в нашей душе затаено, беззвучно.

«Вокруг твоей головы венок из увядших цветов — корона из черных солнц, а лицо завяно трауром оледенелых звезд. У ног твоих умирает буря моей жизни, угасающей волной обливает стопы Твои — измученный плод моей души. Серыми крыльями окружена Ты, безумством моих темных годов, — колыбель Ты моя, гроб Ты мой».

— Bravo, Янек. Ты лучше прочитай свое, — в голосе Савинкова чувствовалась снисходительность.

Каляев писал стихи и печатал в *Северном Крае*, в стихах много было желанья, но его русский голос — слова без крепи и блеска.

— Приходите ко мне, — прощаясь, робко сказал я, — я на Желвунцовской.

— Непременно! — горячо ответил он и церемонно раскланялся по-польски.

В прихожей мы встретили озабоченную, с суровым взглядом Великого Устюга, Соломонию, прислуга Савинковых.

— Видели наших? — обратилась она к Желвунцову.

— Оба великолепные, — сказал я.

— А еркулу видели?

— Какого еркула?

— Да Павла-то Елисеевич Щеголев, — она не смягчила «е», что, по-северному, прозвучало важно.

Еркулы

В Вологде жили-были два еркула: Отто Христианович Аусем из Дерпта и Павел Елисеевич Щеголев воронежский из Петербурга. Аусем по-гречески с бородой, а Щеголев — римлянин, морда бритая и подвита кудель, и оба с картинки: Аусем по-немецки, а Щеголев по своей фамилии.

Аусем встретил меня бурно, по-товарищески, и сразу смял меня своим величием. Это был действительно «еркул», со всем добродушием великана и сердечной пощадой к мелкому человеческому роду. Ему никак не по душе моя угнетенность.

По старому дерптскому обычаю, не замедля, выпили мы по дружному стакану пенистого черного пива. И повторили. Потом из рыжей бутылки без передышки, по рижскому обычаю. И повторили. На Москве этих обычаев нет, прием другой, не зверский, меня с непривычки заметно развезло. Желвунцов, даже не предупредив, заснул. А хозяин — его одухотворило в раж.

Он сбросил с себя пиджак и, став во весь свой рост «еркула», заснул пальцы себе за помочи и — не догадаешься или это мне снится: конь — конем, подшвыривая задние ноги, длинные шесты, сигал от стола к двери и от дверей к окну, мрачно, до жути дико — одна единственная нота — а в воображении веселый гимн Венере: «Венера любит смех, веселие дням всех».

На ней большой бриллиант блестел —

На ней большой бриллиант блестел...

Повторял он вскачь, зловеще.

Так мы стали друзьями на всю жизнь.

И когда говорят: «Венера» — вижу не Милосскую, а пивные черные и рыжие бутылки, затоптанный конем пиджак и бородатого коня.

И потом еще через сто лет я встречаю

в Париже, он уж советский консул и ничего от дерптского и рыжего коня, и теперь мне не понравилась его угнетенность, но у меня не выконивалось его развельч. Так и простились: Аусем вскоре помер. А я еще конюю.

Желвунцов вел меня по знакомой дороге: Щеголев жил у Савинкова в костеле.

— Разве он священствует? — спросил я, мысленно зацепясь, после конского ристания, за костел.

Желвунцов даже осердился:

— В костеле не живут, а только молятся, — сказал он, — а под костелом вроде доходного дома.

Я присмирел.

А под костелом нас ожидало целое представление.

Щеголев не Дерпт, не Рига, а сам пшеничный мукомольный Воронеж. После обеда он почувствовал особенный прилив голоса и пел под орган над собиравшей со стола Соломонией.

Пронизываемая демонскими иглами, Соломония, не выпуская из рук замасленных тарелок и не изменяя сурового взгляда, не то с укором, не то виновато-послушно покачивала головой.

Вспомни дни, как была ты

Невинна пред небом

И как ангел чиста...

Выл орган, голосил Мефистофель — звенели стекла.

Какой необработанный материал. Я был раздавлен. Я уверен, этот дикий голос проникал через потолок в костел и охватывал «мистическим ужасом» старого ксендза и молодого виленского, только что приехавшего в Вологду в ссылку, и всех этих глядевших со скорбью — а ведь только польская скорбь так скорбяща — панн и паненок, согнанных с родной земли на суровый север.

Узнав, что я из Усть-Сысольска, Щеголев вспомнил о Надеждине.

— Тоже выслан в Усть-Сысольск.

— Но ведь это было в 1836 году, а теперь 1902, никаких следов и памяти.

От Надеждина к Каченовскому и к Чаадаеву, от Чаадаева к Белинскому, Погдину и Пушкину — так и пошло до Новикова и Тредиаковского, — история русской литературы перелистывалась по памяти и моей и Щеголева.

Соломония давным-давно убрала со стола, подмела и расставила чашки к чаю. Не раз заглядывала Вера Глебовна Савинкова (дочь Глеба Ивановича Успенского), я ее сразу заметил, узнав по измученным глазам ее отца. А раз, как из

камня выблеснуло, просунулся в столовую Савинков и тут же пропал.

Мы все вспоминали: все имена — эти имена, без которых просто было бы скучно на свете жить: Пушкин, Гоголь... И до последних дней мы будем повторять.

А мечта Шеголева: сделаться в революцию «директором департамента полиции» и напечатать все секретные документы, — в революцию осуществилась: он печатал все, что ему хотелось, и мы прощались перед отъездом за границу в Зимнем Дворце. Он — заведующий Музеем Революции — великий князь обезьяний и кавалер.

Я спохватился: надо было складывать ноги и утекать.

— Я на Желвунцовской, — сказал я, — от Галкинской два шага.

Желвунцов, скрестив руки, вологодский губной староста, поминается в актах начала XVII века. Ну, по-теперешнему председатель судебной палаты.

— Но наш Желвунцов, он... не председатель.

Желвунцов, скрестив руки, стоял на том самом месте, где только что Шеголев упражнялся под Мефистофеля, и делал мне угрожающие знаки.

— Я косноязычный, — сказал я, неожиданно для себя отчетливо и ясно, и вышел.

И он за мной — он был, как сумерки.

* * *

Обойдя «титанов» и «еркулов», с чего-то он стал сумрачный. Но первый я не заговаривал. В своей глубокой задумчивости он как и не замечал меня.

Была та самая теплая погода без солнца. Морило. Желвунцов пошел в купальню — его час удивлять перепонками праздных купальщиков: ему был и день не в день без удивления.

И не вернулся.

— Утонул, — подумал я.

— И не думал, — услышал я знакомый голос, — а просто мне к вам незачем: чувствую себя лишним.

Так и сгинул.

И странно, я как-то и не спохватился, что его нет. Все дни я пишу или, вернее, в тысячный раз переписываю написанное еще в тюрьме в Москве, в тюрьме в Пензе, по тюрьмам на этапе и зимой в Усть-Сысольске.

Пять лет — еще ждать год! В «революционеры» я себя не предназначаю, на «подпольное» и «партийное» дело не гожусь, меня тянет на простор — на волю, без оглядки и «что хочу», а не то, «что надо», — по своей воле и пусть в темную, но отвечаю сам за себя.

И когда об этом я выскажу Савинкову, он заострится.

— А вы знаете, какое место вы займете в социалистическом государстве?

Я слушал.

— Ваше место в каталажке, — продолжал он еще резче, — там и развивайте ваше «что хочу».

— Но, — перебил я, выпрямляясь, — ваша каталажка! ведь это изолятор, а я хочу простора.

* * *

Я кончил «Эпиталаму» — плач девушки перед замужеством и рассказ о самом младшем нашем товарище — сын доктора Заливского, сослан в Усть-Сысольск с отцом — мой чудесный «Бибка»: его мать царская кормилица, здоровый мальчик и совсем не похож на других моих друзей косоглазых кикимор из белых ночей и крещенских выюг.

Не знаю, за что приняться.

Исписано листов не одна тетрадь. Не всё разборчиво, мне никогда не поспеть за моей мыслью. И сверчок. Надо переменить комнату. Ведь это действительно купальня, только воды нету.

Какое в эту ночь пушено ко мне разливное серебро! И вся моя безводная купальня затаена: рукастые, рогастые, густые тени. И меня заливает песня — по-другому я не знаю, как назвать — и вот почему, когда я слышу поют, я, как бы сам, выговариваю свое — неисчерпаемое мое. И всегда с какою болью. И так все у меня. И я не знаю другой любви — я и люблю с болью. И никогда не понять мне, что такое ровно, тихо, безмятежно.

Сумасшедший

Не успел я оглянуться, как прошел месяц. Летнее время, каждому хочется отдохнуть, а полицейскому человеку, в особенности, ведь тоже люди, да и птице полагаются срок. Май комару месяц, а с июня мухам простор. Все дела проходили сквозь пальцы. И с моим угоном в Усть-Сысольск просто-напросто лень разбирать. И когда-то люди выдумают такие липкие бумажки не подпускать мух на близкое расстояние, чернильницы, как живые, урчали и фыркали. Полицие́стер, не вникая, подписал мне еще на месяц.

И этот месяц подошел к концу.

Новый полице́стер Н. М. Слезкин слышать ничего не хочет. И никакого внимания на медицинское свидетельство: оно было подписано доктором Аптекманом, тоже из ссыльных, занимавший место уехав-

шего А. А. Богданова (Малиновского). Свидетельство Аптекмана было еще крепче: говорилось об «угрожающих признаках».

Помню, О. В. Аптекман сказал на мое «не поверят»:

— Да одна ваша согнутая спина может привести в уныние самого жизнерадостного человека.

Стало быть, Слезкин не жизнерадостный.

— О вас неблагоприятный отзыв Усть-Сысольской полиции, — сказал Слезкин, — у вас произведен был обыск.

— По распоряжению из Вологды, — вставил я, выпрямляясь. (Моя дурацкая манера, когда как раз надо сгибаться).

— Вы обвиняетесь в пропаганде.

— Среди своих, — прервал я полицмейстера, — какая же пропаганда: вечерами читал я.

Но Слезкин резко прекратил разговор:

— Извольте в три дня, или мы вынуждены отправить вас этапным порядком.

Савинков и Щеголев решили действовать за меня.

«Титан и еркул, — думаю, — это не моя согнутая спина, выпрямляется, когда не надо».

* * *

Кроме меня о ту пору в Вологде было еще два товарища, пациенты А. А. Богданова и О. В. Аптекмана, — в полиции они числились «сумасшедшие» — Кварцев и Татаринов.

Кварцев, учитель, помешался на книгах. Очень бедный, семейный, двое детей. И всякий раз, получив из ссыльной кассы «на бедность» — заработка никак не хватало — он отправлялся прямо к Тарутину, книжная лавка: накупит книг и, уж с пустым карманом, несет в свой голодный дом. Опрятный, подштопанное, конечно, но выглажено и все чисто и чистый воротничок — мне было всегда больно смотреть. И вообще скажу, мне больно жить на свете — что ж, выколоть себе глаза? — но я и слепой — а все вижу. Он никогда не улыбается и смотрит, точно куда-то ушел и оттуда издалека. Но с книгами, когда он их нес, его не узнать было: он как бы возвращался в наш простой мир и при встрече со всеми приветливо раскланивался. А я со всей моей болью думал: «За что же наш простой мир унижает человека».

А о Татаринове уж никак не сказать, что сумасшедший. Я жил с ним на Желвунцовской в одном доме, сосед «кооператор». Толковый, начитанный и записной охотник, держал собаку. Я не охотник, но с собакой я водился, и без слов мы пони-

мали друг друга: она все хорошо знала о своем хозяине, как я о своем добром соседе. Ни с того, ни с сего вдруг, бывало, подымается он с петухами и петухом поет весь день и вечер до петухов непрерывно. Говорить с ним в такое петушиное время бесполезно: только руками, будто крыльями, машет и, проси-не-проси, ничего в рот не возьмет. Он по образованию агроном: зная все петушинные породы, представлял всех петухов и индейских, и даже таких, каких петухов не бывает: тонко как пилочка, комариком ведет: «ку-ка-ре-ку!» или в свой петушиный час, но не петуха, а из «Пиковой Дамы» — «Если б милые девицы», с утра и до ночи непрерывно. Черный, с черной бородой, весь в черном и петушинные синие глаза, в те времена на Пришвина был похож. Я пробовал, думая отвлечь, и сам кукарекаю или из «Пиковой Дамы», но все мое, вся игра зря: в эти часы он как бы уходил из нашего простого мира, или в нашем мире есть такие западни, заскочишь и захлестнет — захлестнутых-то, пожалуй, больше на свете, чем нас, простых и невзыскательных, но и жестоких к тому, что не по-нашему.

Первое время после тюрьмы обнаружил «дурь» Н. Н. Малинин: на него напала «черная тоска»: живописный, с испуганным застывшим взглядом пророка, он бродил по улицам, заходя по квартирам ссыльных: сядет и молча смотрит — вам кажется на вас, а ему вас не видно — ему видно, но это то, что через вас. По совету Щербакова, вместе служили в статистике у Румянцева, однажды на заре, когда Татаринов вышел на охоту, и Малинин за ним и прямо на муравейник — татариновой собаке как было на удивление: сидит человек на кочке, не шевелясь, а под ним зубатая кишь. С полчаса просидел, а больше терпенья нет, хоть кричи. «И всю дурь оттянуло!» — объяснил потом Щербаков. Малинина не узнать, очень разговорчив: как заговорит, окончания не дожидясь, такая трудолюбивая муравьиная речистость.

Еще доктор Севастьянов, но он безвыездно на Печоре за Усть-Сысольском: когда ему кончался срок, он, уже свободный, сам себе в административном порядке, без объяснения причин, продлил ссылку — бессрочно.

Объявить меня сумасшедшим — единственный для меня выход.

Завтра Щеголев и Савинков пойдут к губернатору с моим медицинским свидетельством, да и от себя прибавят. Они не сомневаются в успехе.

Губернатор Князев всех нас знал лично, меня, Савинкова и Щеголева, и случилось

это совсем неожиданно. Вологда не Пенза и старый порядок — ссыльные должны представляться губернатору — был отменен. Губернатор сам пришел в костел к Савинкову, не к Борису Викторовичу, конечно, а к его отцу, к Виктору Михайловичу, приехал в Вологду повидать сына. Когда-то в Варшаве Савинков служил прокурором, а Князев, младше его, под его начальством. Губернатор застал всех нас за столом. И это случилось не раз. Всем нам было любопытно и поучительно слушать рассказы В. М. Савинкова: человек «закона» и «совести»: после 1863 года он, конечно, вышел в отставку и служил мировым судьей. Губернатор Князев был с ним особенно почтителен.

— Желвунцова вы оставьте,— сказал мне Щеголев,— ваш губной староста XVII века мало вероятно, да и не оригинально, о двойниках целая литература, а «ножные аппараты» не убедительны, особенно где вы говорите, что они «припаяны прямо к когтям», это на А. А. Богданова действовало, потому, что сам он, практикуя сумасшедших, вы заметили его глаза — в их озерах поплескивают рыбки! — сам он, и без вашего Желвунцова, кандидат в Кувшиново. Не было ли у вас чего-нибудь, вот вы рассказывали, в Усть-Сысольске вы встретили кикимору. И что-нибудь в таком роде о русалках. Или что такое вы называете: разрывается пространство.

— Да это, как во сне: вдруг или как занавес подымется и попадешь в другой мир. Например, вот пустое место,— и я покружил в воздухе,— и вот разорвалось, смотрите: лягушки — и вверх и вниз.

— Какие лягушки?

— Розовые.

Щеголев больше меня не расспрашивал: «розовых лягушек» с него довольно.

На следующий день в приемной у губернатора: подвитой, во всем воронежском пшеничи, Щеголев и пан Савинков.

Князев сослался на Слезкина — неблагоприятный отзыв полиции, обыск — тут Щеголев мое прошение и свидетельство Малиновского и Аптекмана.

Прошение просто: не возвращаться в Усть-Сысольск, а свидетельство сложнее — пишется всегда навыворот, неученому не разобрать, но в заключение о «угрожающих признаках». За эти «угрожающие признаки» Щеголев и ухватился: помянул «лягушек».

— Какие лягушки? — спросил Князев.

— Розовые.

Почему-то непривычный цвет: не зеленые — особенно действовал, хотя точно

не помню, но на каких-то островах в Тихом океане водятся и розовые.

«Розовые лягушки» победили. Князев согласился. Я остаюсь в Вологде, но с условием: кроме полицейского надзора, чтобы был и товарищеский присмотр.

Щеголев отступил, и пан Савинков, со всей варшавской изысканностью, выразил губернатору благодарность и за прием, и мудрое решение по делу их душевнобольного товарища.

В полиции я был записан, как сумасшедший, но с горечью скажу, я не поумнел.

Так я и остался в Вологде до конца ссылки под гласным надзором полиции и под негласным Савинкова и Щеголева.

И теперь Щеголев и Савинков мне, как первое время Желвунцов: я уж без них и дня не мог прожить — всегда под их бдительным глазом.

* * *

Щеголев потребовал вспрыски: шампанское. А шампанское у Гуткова-Белякова — 5 руб. 50 к. И таких денег откуда? И обращаться не к кому: В. Г. Савинкова на такое «безобразии» никогда не даст, а из кассы и думать нечего.

И тут чудесный случай выручил.

Из Сольвычегодска приехала в Вологду ссыльная Серафима Павловна Довгелло: ей разрешили, как мне когда-то из Усть-Сысольска, на месяц: нас, угнанных за пять рек, в Вологде полиция не очень жаловала.

С. П. Довгелло еще с Петербурга знакома с В. Г. Савинковой, тогда с В. Г. Успенской, к ней первой и явилась. За обедом были рассказаны все вологодские случаи и, конечно, история с моими розовыми лягушками. Щеголев очень гордился, что отстоял меня: «убедил» лягушками губернатора и лягнул полицмейстера Слезкина. Род Слезкина славился в жандармском-полицейском мире: должность по наследству, как это бывает у художников.

С Довгелло, когда она была в Усть-Сысольске, я очень редко встречался, но тут заговорил как со знакомой, и без всяких объяснений, она поняла эти розовые лягушачьи вспрыски, она дала мне на шампанское 5 р. 50 к.— золотой.

У Гуткова-Белякова оказалось мое любимое Grand Gremant Imperial. Из Ярославля приехал Каляев, и в костеле на Галкинской у Савинкова состоялось мое посвящение в «сумасшедшие».

Только этим дело не кончилось: объявиться сумасшедшим куда ответственнее, чем ходить в здравом уме и твердой памяти.